



А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

Николай Алексеевич Некрасов

Проклятому царизму предстояло еще догнивать до 1917 года, чтобы кончить распутинщиной и бесславным падением, но крепостное право ко времени зрелости Некрасова уже созрело для смерти.

Основным фактором, который осудил крепостное право, было развитие капитализма в России. Подневольный труд становился менее выгодным для эксплуататора, чем труд наемный. Не только выросший индустриальный капитал требовал себе свободных рук, но и наиболее прогрессивные в экономическом отношении помещики понимали, что малоземельный вольный крестьянин окажется более удобным для эксплуатации материалом, чем крестьянин-раб.

Однако в сознании различных классов России готовившийся знаменательный переворот, крупный шаг от грубого феодализма к капитализму, хотя еще и заключенному в слегка лишь расширившиеся рамки, отражался не только в голом экономическом учете.

Рядом с людьми, уверенными в том, что крепостное право невыгодно, рядом с такими помещиками и капиталистами, рядом с государственными людьми, сознававшими, что крепостное право стало поперек дороги железнодорожному развитию и военной мощи России и при этом может разразиться целым рядом крестьянских восстаний, рядом с экономически передовыми слоями крестьянства, крупно- и мелкокулачскими, заранее рассчитывавшими свободу на звонкую монету, — мучительно, торжественно и трогательно развертываются романтические чувства. За такую романтику нельзя, конечно, считать тот официальный патриотический восторг, из которого вынырнуло грошовой умиление вокруг царя-освободителя, но, несомненно, в самом дворянстве, в гниении крепостного права сильнее и сильнее развертывалось мучительное сознание чудовищности самого факта рабства и особенно на всяком шагу проявлявших

себя злоупотреблений им. Всеми красками переливает это дворянское покаяние. Еще Радищев берет из глубины прочного крепостничества острую революционную ноту, которую потом подхватывают Рылеевы и Пестели и в некоторой степени — передают ее Некрасову. Рядом с этим — гуманное барство с целой серией крупных представителей, венчающееся Тургеневым, и, наконец, слезливое покаяние с каким-то нарочитым преклонением перед выпоротым мужиком и его исконной мудростью, причем в мужиковстве этом часто сильно сказывался страх дворянства перед наступавшей на него капиталистической культурой. Мужиковствующее, кающееся дворянство тоже увенчалось грандиозной фигурой Толстого.

Одно перечисление этих дворянских, частью крупнодворянских имен показывает, что русские феодалы действительно очень глубоко переживали неправду своего положения. Этому способствовало, конечно, то, что они сами были холопами. Русское крепостное право почти на таких же началах подчиняло конюха помещику, как шталмейстера — царю. Дворяне, побывавшие за границей, начитавшиеся вольных книг, утонченные, талантливые сыны уже клонящегося к упадку, уже перезрелого, но тем более рафинированного класса, мучительно сознавали свою несправедливость перед самодержавием. Это не могло не заставить их оглянуться на самодержавие свое над бесправным крестьянством. Люди острой оппозиции, а подчас революционеры, они не могли не чувствовать неразрывного единства самодержавия с крепостным правом. Да и нервы людей офранцузившихся, тонко воспитанных, художественно развитых не переносили соседства толстого и длинного хвоста помещичества, более отставшего, чем его небольшая голова, и состоявшего из насильников и подлецов.

Иными были романтики-разночинцы. В то время как помещики, даже наиболее левые, даже герценовского типа, в значительной степени ограничивались оппозиционным словом, боялись прямого обращения к крестьянской революционной стихии, за совершенно ничтожными исключениями, не знали, как подойти к грозному чудовищу самодержавия, — разночинцы, непосредственные выходцы из народа с свежими нервами, сильные мужичьей кровью, хотели схватить врага за горло.

Неправильно относить разночинцев к буржуазии, утверждать, что будто именно первые волнения «буржуазной революции» выдвинули фалангу типичных людей 60–70-х годов. Буржуазия тогда более, чем когда-либо, готова была мириться с самодержавием. Неправильно зачислять разночинцев в мелкую буржуазию, разумея под этим сознательную защиту промышленного и кулацкого слоя городов и деревни. Единичные случаи проникновения этой идеологии в общую идеоло-

гию руководящей группы разночинцев — ничтожны. Неправильно, наконец, говорить о разночинцах, как об интеллигенции в качестве междуклассовой группы, которая-де своими непосредственными интересами сталкивалась с самодержавием и естественно искала себе опоры в массах. В ком же еще?

Все подобные подходы не попадают в цель. Конечно, разночинство должно было потом породить из себя интеллигенцию, определенным образом уравновесившись между различными социальными явлениями, определенным образом развернувшись потом вследствие тяготения к тем или иным классам. Но в разночинце тогдашней России, в том, который жил Чернышевским, зачитывался Добролюбовым, сторона идеологическая, по самым условиям его быта, перевешивала его экономические, классовые или групповые интересы. Он чувствовал себя настоящим авангардом народных масс. В своем сознании он оценивал себя как неразрывную часть всей народной трудовой массы, в первую голову — крестьянства. Он, вышедший из народа, — дитя семьи трудовой, — добился положения критически мыслящей личности, и это значило, что он вооружен сознанием гражданина, выплеснутого темной массой, и, стало быть, он орган этой темной массы, стало быть, он должен отдать перед массой долг, превратить свою критическую мысль в острое оружие в руках масс.

Огромная скорбь кипела в сердце такого человека, когда он оглядывался назад, на море страданий и унижений своих непосредственных братьев и родичей. Огромная надежда захватывала его дух, так как, чувствуя родство свое с этой стихией, он предполагал вполне возможным, вполне естественным повести ее, непобедимую, всесокрушающую, на приступ твердыни крепостничества и самодержавия.

Все казалось возможным, и мысль разночинца лишь ненадолго остановилась на освободительном, но индивидуалистическом оптимизме Писарева. Это нужно было только, чтобы самому встать прочнее на ноги. Но и Писарев уже звал от «разумной жизни» вперед, к задаче «одеть голого, накормить голодного»¹. Как одеть голого, как накормить голодного? Как устроить народ после того, как он в великой буре сбросит с себя все цепи.

Как можно справедливее, как можно счастливее, как можно светлее?

Откуда взять краски для того, чтобы представить себе и тем, кого надо учить, как можно конкретнее это светлое будущее? Откуда же, как не у западноевропейских мыслителей, выражающих желания тамошних народных масс, то есть у последних утопических социалистов, у Оуэна, Виктора Консидерана, у молодого Маркса².

Я, конечно, не хочу сказать, что все русские разночинцы были, таким образом, юношеским социалистическим авангардом народа.

Такими были руководители разночинства, но редко когда руководители имели такое большое влияние на всю социальную группу, как во время «Современника» и «Отечественных записок». Беда, конечно, была в том, что крестьянство, глотая подчас слезы обиды и злобы после расправы на конюшне, после увода на барскую усадьбу новых наложниц, после отдачи в солдаты, было и идеологически и экономически настолько еще слабо организовано, что все надежды на его поддержку оказались тщетными, зародышевый же пролетариат еще не играл сколько-нибудь серьезной роли.

Вот почему эта весна русской первой революции, этот первый натиск кучки вышедших из народа мыслителей и борцов фатально должен был выродиться в бессильный призыв к народным массам, а потом в трагический поединок «Народной воли» с самодержавием.

Некрасов в своей поэзии живейшим образом отразил это знаменательное явление.

Некрасов — дворянин. Как дворянин, он был как будто самой судьбой поставлен в такое положение, чтобы обнять все противоречия дворянства. Мать — русокудрый, голубоглазый ангел, пани Закревская, сказочница, повествовавшая о рыцарях, монахах и королях, нежный благоуханный цветок дворянской культуры, обвеянный дыханием Запада, мать — сама крепостная по отношению к своему извергу-мужу, горько и кротко осуждавшая ад, который был кругом. Отец — сатана в этом аду. Отец — помещик, офицер, исправник, картежник, развратник, самодур. Как будто нарочно выбраны эти два типа, чтобы в еще детском сердце Некрасова укоренить пафос дистанции между высокой дворянской гуманностью и низким дворянским тиранством.

И на народ насмотрелся молодой Некрасов, на народ деревни. Непрерывным ужасом текли картины страданий народа под ударами режима, и тем не менее между этими ужасами проскальзывала та радость жизни, на которую народ мог быть способным, вся поэзия крестьянского труда на лоне широкой волжской природы, крестьянские праздники, крестьянские песни, не только тоскливые, но и ликующие, соль мужицкого юмора, чудесные белые и русые головки очаровательных цветков деревни — ребятишек, все это воспринял Некрасов. Во многих его произведениях сквозь слезы, сквозь скорбь, сквозь гнев, как луч солнца среди лохматых туч, проглядывает великая жизненная радость. Некрасов так хотел бы этой радости! И все с большей болью сжимаются его кулаки, когда он вспоминает, что искалечен, кругом замучен и иссечен его народ.

Таков Некрасов-дворянин. Но Некрасов еще и разночинец. Он разночинец потому, что с ранней юности попадает в Петербург, лишается

поддержки отца и становится нищим, до того, что спит в ночлежках или на скамейке под открытым небом, нищим до голода, нищим до мелкой кражи, чтобы не подохнуть с голоду. И не замечательно ли, что первые его очерки посвящены именно пролетариату и полупролетариату: «Голод», «Петербургские углы», «Физиология Петербурга»³.

Он разночинец потому, что рано начинает зарабатывать себе на жизнь, и зарабатывать сначала не литературой, а литературной каторгой, писанием всего, что закажут, по дешевке. Он разночинец по силе своей натуры. Не только дворяне, но близкие ему друзья-разночинцы уже удивлялись тому, как в этой школе закалился Некрасов. Крепко расчетливый хозяин, организатор — вот каков Некрасов в своей роли в литературе. Он разночинец по своим связям. Белинский, Чернышевский, Добролюбов — вот его ближайшие друзья и единомышленники, его соратники. А маленькие Чернышевские, маленькие Добролюбовы — его читатели, его поклонники. Он разночинец по всему своему настроению, он рвется в бой, он рвется к революционной постановке вопросов.

Правда, дворянское его происхождение, одновременно и расшатавшее его волю и приковавшее его к радостям жизни, ибо этого тяготения Некрасов никогда в себе победить не мог, сделало то, что борцом он не стал. Но зато тот факт, что он в первые годы смертельной схватки народа с угнетателями только пел, что он позволял себе известную роскошь, стал внутренне грызущей болезнью Некрасова и создал в его душе страшную дисгармонию, заставил его метаться и умолять свой народ о прощении. Эта черта самобичевания за то, что на плечи не взят самый тяжелый подвиг самоотвержения, за покладистость по отношению к земным соблазнам, за оппортунизм, на который Некрасов часто бывал вынужден, чтобы спасти свой журнал от полицейских водоворотов — довершает облик Некрасова. Ибо, конечно, миртовский долг, возложенный на себя интеллигенцией, тяжел был, как вериги, и не всякий делался подвижником, не всякий шел погибать за великое дело любви. И многие и многие, охваченные горячей проповедью пророков народничества, но не могущие вместить, калялись и бичевали себя.

В этом сказалось, конечно, безвременье. Если б поднялся вихрь революции, то и Некрасов и маленькие Некрасовы все кинулись бы очертя голову в борьбу, но она только вскипала и замирала вновь, и это подкрепляло колебания и прибавляло к мукам за муку народа собственную муку, стыд за свою душу, душу сына безвременья.

Но в настроении некрасовского покаяния за столь небольшие грехи — огромная революционная этическая сила.

Было бы излишне здесь говорить о поэтическом творчестве Некрасова вообще, об этом слишком много писалось и этого нельзя не заменить советом углубленно и любовно прочесть все его сочинения, но на одном необходимо остановиться. С легкой руки «эстетической» критики пошло представление о Некрасове, как о поэте не совсем даровитом, и сам Некрасов о своей музе говорит, как о суровой, о своем стихе, как о неуклюжем, и даже в юбилейных статьях, прочтенных мною вчера и третьего дня, я нахожу эти признания: поэтический талант был не особенно силен, форма шероховата и т. д.⁴ А вот Чернышевский из глубины каторги, умирая там мучительной психической смертью и узнав, что Некрасов умирает физически и мучится на своей постели угрызениями совести, послал ему письмо через Белоголового, в котором говорил: «Скажи ему, что я горячо любил его как человека, что я благодарю его за доброе расположение ко мне, что я целую его, что я убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему из всех русских поэтов. Я рыдаю о нем. Он действительно был человек высокого благородства души, великого ума, и как поэт, он, конечно, выше всех русских поэтов»⁵.

Что же, в этом суждении сказывается только духовная близость людей одного поколения, людей одного лагеря? Конечно, может быть, в этом горячее преувеличение, конечно, не гениальнейший, конечно, не величайший. Русская литература числит в своих рядах несколько гениальных поэтов, которые, конечно, не уступят Некрасову. Но за исключением этого горячего преувеличения — все остальное верно.

Когда перечитываешь Некрасова вот теперь, зрелым человеком, издавшим виды, читавшим почти всех великих поэтов мира, то недоумеваешь, как могут люди продолжать говорить о каком-то слабом поэтическом даре, о каком-то несовершенстве формы.

Некрасов *гражданский* поэт, но это *гражданский поэт*, в том-то и вся сила. Слабые поэты с сильным гражданским чувством заслуживают уважения, но редко приносят пользу. Прежде всего искусство должно быть искусством, то есть должно, по слову Льва Толстого, заражать душевным переживанием художника, зажигать нашу душу духовным его пламенем⁶. Для этого нужны две вещи. Нужно, прежде всего, чтобы в душе художника горело это пламя, чтобы его переживание было выше наших переживаний, чтобы это был великий человек; человек не великий не может быть великим поэтом потому, что заражать нечем, и на века прав апостол Павел, сказавши, что без любви все языки человеческие — кимвалы бряцающие. И заметьте, когда я говорю, что поэт должен быть великим человеком, я не хочу этим сказать, что он должен быть таким в своей частной жизни.

«Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботы суетного света он малодушно погружен». Мало того: «Из всех детей презренных мира, быть может, всех презренней он»⁷. Потому, что таков он как обыватель, как Иван Иванович, как Александр Сергеевич, как Николай Алексеевич. А что это такое тот момент, когда «до слуха чуткого коснется божественный глагол»? Что такое этот божественный глагол? Это — социальность. Поэт, когда он творит, перестает быть Николаем Алексеевичем; он становится глашатаем огромных массовых человеческих дум, ощущений и эмоций. Поэт, когда он творит, знает, что он говорит для сотен тысяч, может быть, для миллионов, что он трибун, что он перед лицом сограждан и, может быть, вечности. И вот тут-то побеждает в нем его социальная личность. Он перерождается, только лучший, только чистый металл звучит теперь в колоколе его души.

Вот этот-то перерожденный человек, вот этот социальный человек, вот этот-то человек должен быть велик в индивидууме, чтобы личность могла стать великим поэтом. Это первое условие. Оно целиком выполняется Некрасовым. Его лиризм горяч, горек, величествен, глубок. Это прекрасная душа. И кроме того, те большие чувства, которыми он заражает нас, суть чувства, которые были бесконечно необходимы для роста русской общественности и которые необходимы еще и сейчас, ибо задачи, стоявшие перед русской разночинческой, крестьянской общественностью 70-х и 60-х годов, еще стоят и перед пролетарской общественностью 20-х годов нового века.

Но этого еще мало для того, чтобы быть великим художником. Можно представить себе великую душу, полную прекрасных страстей и ярких мыслей, но неспособную передать их в образах, словно порван провод, замыкающий ток между душой автора и душой читателя, можно быть Рафаэлем без рук.

Ничего подобного у Некрасова. Его произведения как нельзя больше адекватны его мысли. С самого начала он всем понятен, все его подхватывают, все его прочитывают, все его заучивают наизусть, все его поют, даже вплоть до грамотного крестьянина. Заметьте, никогда не жаловался Некрасов, как Тютчев, что «мысль изреченная есть ложь»⁸. Совсем другая трагедия Некрасова. Он часто жалуется, что стихи его недостаточно правдивы. В каком смысле? В том, что жизнь его не стоит на высоте его проповеди, а не в том смысле, что проповедь его не стоит на высоте его замысла.

Стихи Некрасова недостаточно гладки? А кто сказал, что гладкость стиха есть непременно достоинство? Кто это доказал, что об ужасах жизни народа надо непременно писать гладкими стихами? Разве от прозы художника требуется не то, чтобы весь ритм ее соответствовал содержа-

нию? Разве не велик художник, проза которого задыхается, прыгает, падает вместе с содержанием, о котором он повествует, и разве стихи не должны быть именно такими? Разве надо зализывать до степени салонной акварели портреты чудовищной действительности? Какие это пустяки! Если бы стихи Некрасова были более вылощены, более мелодичны, то это действовало бы как ложь. Если человек о смерти своей матери рассказывает, соблюдая все правила синтаксиса и стилистики, то это произведет на всех впечатление чудовищного лицемерия или бессердечия. То, что сам Некрасов принимал за неуклюжесть своего стиха, было поистине только его суровостью. Неуклюж он потому, что тема его неуклюжа, потому, что он искренен, неуклюж потому, что мощен. И было бы жалко, если бы в нем хотя бы на гран было менее этой неуклюжести. Но зачем же тогда не проза, а стихи? Потому, что высший пафос, в котором жила душа Некрасова, просится петь. И вот вам совет, как надо проверять хороших поэтов. Если поэт не поется, то пусть бросит стихи и пишет прозой, он, быть может, окажется прекрасным прозаиком.

Стихи должны петь — петь внутренне в вашей душе, если вы про себя читаете стихи, невольно ритмизироваться и мелодизироваться, если вы читаете их вслух. Именитые и безымянные композиторы перелагают их на настоящую музыку.

Разве все это неверно для Некрасова? Я не знаю, породили ли даже Пушкин и Лермонтов такое количество музыкальных произведений, как Некрасов. Кто из русских поэтов больше поется? Где, в каком захолустье не раздавалось «Выдь на Волгу» или полная счастья песня «Коробейники»? Но я все еще держусь некрасовской лирики, а между тем Некрасов живописец, Некрасов — эпик, Некрасов создает типы, которые поселяются в вас раз навсегда. Некрасов дает вам пейзажи непревзойденной убедительности. Некрасов рисует перед вами картины, которые словно стоят перед вами воочию. И он дает это не только как реалист, — превосходна, незабвенна и фантастика Некрасова. Достаточно только вспомнить взлет народной фантастики в появлении воеводы Мороза в великой, изумительной поэме Некрасова этого имени. Какая ураль, какая ширь, какой демонизм!

В Некрасове таились огромные возможности, как в этой красавице-славянке, которую он нам в этой же поэме описывает. Если у него вырвался раз стих «Мне борьба мешала быть поэтом»⁹, то мы можем сказать: нет, она не мешала ему быть поэтом. Но если бы он жил в счастливую пору, он пел бы счастливые песни; тогда все эти маленькие критики почувствовали бы, что и в счастливой песне, песне красоты, любви, летучей жизни Некрасов оказался бы так же, а может быть, еще более велик. Может быть, еще более велик в том смысле, что дал бы

еще более великие, еще более чарующие образы, но более ли велик был бы он тогда в том огромном уроке, который он преподавал. Рыдая, грозя, он поднял рыдания и угрозы до степени высокой музыкальной и живописной красоты и ни на минуту их не ослабил.

В краткой статье нельзя исчерпать и десятой доли урока, который дает нам Николай Алексеевич Некрасов. Не принимая ни на минуту ни великих алтарей Пушкина и Лермонтова, ни более скромных, но прекрасных памятников Алексея Толстого, Тютчева, Фета и других, мы все же говорим — нет в русской литературе, во всей литературе нашей такого человека, перед которым мы с любовью и благоговением склонялись бы ниже, чем перед памятью Некрасова.

